

СИГИЗМУНД  
КРЖИЖАНОВСКИЙ

*Штрихадунатан катогорни рассуока*



# Сигизмунд Доминикович Кржижановский

## Четки

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=178472](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=178472)  
Тринадцатая категория рассудка: Эксмо; М.; 2006  
ISBN 5-699-18798-7*

### Аннотация

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

# Содержание

I	4
II	11

# Сигизмунд Кржижановский

## Четки

### I

Я всегда предпочитал прямые и ломаные линии городских улиц извиву и кружениям полевого проселка. Даже пригородное подобие природы, с вялыми пыльными травами у обочин шоссе, с тонкостволыми чахлыми рошицами в дюжину березок, с лесом, где деревья вперемежку с пнями, а на лопастях папоротника налипь рваной бумаги, – пугает меня. Природа огромна, я – мал: ей со мною неинтересно. Мне с нею – тоже. В городе, среди придуманных нами площадей, кирпичных вертикалей, чугунных и каменных оград, – я, придумыватель мыслей и книг, кажусь себе как-то значительнее и нужнее, а здесь, в поле, подставленном под небо, я, тщетно пытающийся исшагать простор, затерянный и крохотный, кажусь себе осмеянным и обиженным. На природу с квадрата холста, из тисков рамы, с подклеенным снизу номерком, я еще скрепя сердце согласен: тут я смотрю ее. А там, в поле, небом прикрытом, она смотрит меня, вернее, сквозь меня, в какие-то свои вечные дали, мне, тленному, с жизнью длиною в миг, чужие и невнятные.

И в тот день (было прозрачное сентябрьское предвечерие)

я вышел за шлагбаум не так, не просто, не прогулки ради, а за делом: мне нужно было одолжить у небополя на час-два чувство малости и затерянности. Одно место во второй главе моей работы, требующее именно этой эмоции, никак не давалось среди стен. Делать было нечего.

Я прошел уже около версты от заставы. Глаз, привыкший кружить путаницами улиц и стен, ерзать среди пестрот, втянувшийся в дробность и разорванность городского восприятия, тщетно искал деталей и мельков: зелень – синь, небо – земля – и все. Поэтому понятна радость глаза, когда удалось-таки ему, обежав горизонт, сыскать в просторах поля – мелочь: человека. Человек возник как-то сразу и неожиданно близко: он стоял в мятой траве, у края дороги, сосредоточенно шаря палкой по земле. Палка терпеливо перебирала и пригинала к земле травинку за травинкой. Человек (он был очень стар), наклонив и без того сутулую спину к земле, очевидно, искал что-то, оброненное в травы: свисшие с его носа очки недовольно круглились.

Поравнявшись со стариком, я коснулся шляпы:

– Не помочь ли вам?

Старик не отвечал и еще ниже пригнулся к травам, – и вдруг круглые стекла очков, мелькнув черной оправой, прыгнули в траву. Старик растерянно ловил воздух руками, с таким видом, как если б вместе со стеклами уронил в траву и глаза. Быстро нагнувшись, я поднял за тонкий стальной заушник очки:

– Вот видите, не надо брезгать помощью. Скажите, что вы потеряли?

Старик долго протирал пыльные стекла:

– Тут... в траве – 1а#.

– Что?

– Ну да, я уронил – ля-диез: с первой приписной линейки. – И он опять принялся шарить в траве. Изумленный, следя за движениями палки, я заметил: в зеленой путанице травинок что-то вдруг сверкнуло пучком стеклистых искр: протянув руку к искрам, я держал легко мною выпутанный из трав крохотный граненый пузырек: на прозрачной грани – бумажный билетик; на билетике пометка – «1а#3»», из третьей октавы. Срок заклада – 1 авг.\*\* г.» – и еще что-то – но я не успел дочитать: костлявые пальцы жадно потянулись к находке, стекла очков к стеклу сосуда:

– Ну да, она. Конечно. Благодарю вас.

На костистом плече старика висела серая дорожная сума: приоткрыв ее, он бросил внутрь сумы пузырек и, медленно ступая, продолжал свой путь. Я шел рядом, не отставая. Мимо по колеям, растревожив пыль, прокатила телега.

– Мне все-таки хотелось бы знать, почему вы говорили о каком-то ля-диез. Ведь в траве был просто пузырек: пустой пузырек.

Старик, не отвечая, сунул руку в суму, и в пальцах его опять просверкал граненый сосудец: придерживая его левой рукой за донце, правой он осторожно повернул притертую

пробочку и, чуть улыбаясь, поднес его к моему уху: грустная серебристо-звонкая нота высокого юного женского голоса прозвучала из-за стеклянной грани: плененная, будто вырванная из чьего-то голоса нота – длилась и длилась, – исходя в тоске по разлученному с ней голосу и бессильно стучась серебром дрожи в стенки стеклянной тюрьмы.

В вибрации плененного звука было что-то странно знакомое: вдруг вспыхнули рампные огни, закачались в черном провале оркестра – вверх-вниз-вверх – острые асики смычков, ведомые чистым сопрано. Кто? Отвечая, из сумерек памяти просинели аршинные буквы афиш. «Клара Рид, – вскрикнул я, изумленный, – это ее 1а#!»

Старик ослабился:

– Да. И в случае просрочки... Пусть композиторы пишут ей партии без 1а#: они это умеют.

И пузырек, сверкнув гранями, опять исчез. Старик осторожно затягивал ремни.

– Это жестоко, – пробормотал я.

– Вы находите? Гм... Тут у меня в суме – всего лишь нота, так – один из двадцати семи полутонов, одна двадцать седьмая голоса. И мне говорят: жестоко. Ну а вы, существа из-под крыш, разве вы не обеззвучили небесные сферы, не онемели ангелов и не отняли песен у просторов; вы опутали музыку струнами, придавили ее потолком, вырвали у нее язык: это не жестоко?..

Он любовно провел рукой по своему мешку:

– Ну, а что до певичкина 1а#’а – будет ему таскаться от ушей к ушам, из зала в залы: пусть отдохнет здесь, в стекле, пусть постранствует по полям, вместе с моей дорожной сумой. Вы думаете, берегу заклад для себя. О нет, – полям возвращаю я отнятое у полей: ведь стоит повернуть пробочку и... Разве вы не слышите: поля молчат – исполосованные колеями, затоптанные и изъезженные, оглушенные лязгами и грохотами ваших городов, – поля стали немые. А встарь...

С минуту мы шли молча среди пахучих имбирей, зеленых прощв подорожника и пропыленных трав. Старик задержал шаг. Он, очевидно, устал – дыхание было часто и трудно. Взглянул на меня:

– А вы мыслью все еще в пузырьке.

– Нет, думаю о вас: кто вы?

– Я – человек, которого встречают в полях. Только в полях. И встреченный мною должен ответить: чего он ищет в них?

Глаза старика были властны, как и слова.

Я ответил:

– В поля меня послали книжные поля: я здесь по их воле. Видите ли, как бы сказать... Перу моему, не мне, ему, нужны слова, слова малости и затерянности: там, в городе, их никак и нигде не достать. У наших письменных столов слово «я» переросло горы: уперлось гнутыми ножками в землю, в чернильную петлю вокруг звезд, – мне же нужны сейчас, так, на час-два, слова самоумаления, затерянности в просторах.



И вот я пришел...

– Так, так, понимаю, – старик раздумчиво пожевал губами. – Может быть, будет неблагодарно отдарить вас за помощь в розысках затерянностью. Но если вы этого хотите... Странны, странны люди из-под крыш. Вы философ?

– Так, думальщик.

– Тогда... – приостановившись, старик долго рылся рукой в дорожной суме, – не подойдет ли вам *это*?

Края сумы, растянувшись, выпустили сжатую в щепоть руку; в щепоти, нанизавшись на длинную серебристого отлива нить, мерцали белые крупные бусины четок.

В этот миг солнце, перерезанное чертой горизонта, низко нагнувшись к земле, собирало свои последние оброненные лучи. По влажным вечерним травам скользили туман и сумерки, – но все же я рассмотрел: белые бусины на связанной узлом четочной нити были как-то необычно крупны.

– Странные четки, – изумился я, но старик уже заворачивал подарок в черный, матового ворса плат, вынутый им из той же сумы.

Стянув плату за концы, он передал узелок мне:

– Вот. – Мы стояли у края оврага. По земле, вместе с туманами, стлался низким гулом дальний благовест. Старик обернулся лицом к оврагу. – Вот здесь, обходя поля, я нашел как-то труп: девочка, отроковица. Вкруг шеи – синцы от пальцев: удушена. В выдавившихся наружу глазах мне удалось увидеть крохотное остекленное изображение мучителя.

Это, конечно, так, частный случай. Но думали ли вы, думальщик, что *все* смерти насильственны: пуля в сердце, пальцы вокруг горла, каверны в легких, дряхлость, одеревеневшая жилы, – все это разновидности насилия. Все губит, все отнимает жизнь, даже радость. Но максимум насилия – когда убийца: всё. Как таковое. Я говорю о людях, заболевших... миром. Да, есть и такая болезнь. И не о ней ли сказал Сократ: «Философствовать – значит умирать»? Впрочем, мой подарок, – старик притронулся к узелку, – объяснит без слов.

И, кивнув мне, он вдруг круто свернул в бездорожье; травы прошуршали у его ног; туман сомкнулся.

Я знал, что в поле поблизости нет жилья. Куда ушел странный старик и кто он, являющийся в полях? Разгадка, завязанная в черный плат, была у меня в руках. Я быстро направился к городу.

## II

Придвинув ближе ламповую розетку, я развязал узел: черный плат развернулся; на матовом ворсе его белели крупные, тесно сдвинутые бусины.

«Странные четки». Я перерезал нить: две-три крайних бусины покатались по столу. Я взял одну из них в пальцы: из руки, прямо на меня, глядел остеклившийся, с полуслипшимся белым зрачком глаз. Я с отвращением и страхом отодвинулся от стола: не может быть. Нет, правда: передо мной, на черном плате, змеевидным изгибом протянулась нить; на нити, нанизавшись на нее прорезями узких зрачков, лежали чередой – глядя друг в друга – глаза мертвецов.

Долго я не знал, что мне предпринять. Вспоминались последние слова человека, встреченного в полях.

Наконец я решился. Где-то в шкапу, среди математических и физических приборов, отыскался офтальмоскоп.

Я снизил, не без чувства брезгливости, одну из склизких глаз-бусин и придвинул к зеркальцу офтальмоскопа. Сначала мне ничего не удалось рассмотреть сквозь черную щель омертвевшего зрачка. Но я не выпускал его из поля зрения: исподволь прорезь зрачка стала расширяться, какие-то контуры и пятна проступили и замаячили на вгипе сетчатки: потом слились в одно. Я тронул винт офтальмоскопа, отыскивая зеркальцем наилучший уклон луча и понемногу как

бы вдвигаясь живым глазом в глубь мертвого, я увидел: навстречу мне стлались стеклисто-мертвенные пустые просторы. Ни блика, ни черты, ни даже точки. Безвидие. И вместе с тем – такое напряжение, такая наполненность, что жгло мозг и глаз.

«Странно, – подумал я, на минуту зажмурившись, – ведь сетчатка, даже и мертвая, должна же давать отражения».

Я взял со стола блестящую крышку чернильницы и приблизил ее к сломанному лучу прибора: ничто не изменилось, ничто не возникло в царстве бездвижия, остеклело глядевшем в меня из мертвого пустого зрачка: вещи были над ним безвластны.

И чем дольше я смотрел – живым зрачком и в мертвый, – тем больше покоя входило в меня оттуда. Однако факт был слишком странен: надо проверить повтором опыта. Не отрывая взгляда, я протянул руку к столу и механически овладел первым попавшим в пальцы предметом.

Теперь, лишь только предмет вошел в луч прибора, в поле зрения смутно завожникало: сквозь стеклистые просторы разворачивалась серая дорога. На дороге – щит черепахи: четыре коротких перепончатых лапы медленно волокут щит. Позади, на расстоянии шага, обнаженный воин, с щитом у левого локтя, плечами, наклоненными бегом: мускулы бегуна наузлены, дыхание разводит и сводит сосцы. Быстрыми прыжками бросает он тело вперед, в обгон черепахи. Та не торопится: четыре перепончатых лапы сонно ворошатся под

щитом. Воин напряг последние силы, он учащает бег, – но щит черепахи все впереди. Минута, другая: ничто не меняется. Разгневанный воин, тяжело и прерывисто дыша, обрывает бег. За спиной его – колчан и лук: стремительно оттянув тетиву, он целит в черепашее тело (оно в трех футах от острия) – стрела прынула в воздух: древко ее дрожит от быстроты лёта, перья прижаты воздушным током, но меж черепашим щитом и стрелой – все те же три фута. И воин снова начинает бег.

Я с трудом оторвался от видения. Недоумевал: что могло нарушить покой безвещья. Взглянул. У меня – прямо против придвинутого к офтальмоскопу глаза – белел другой глаз. Тогда я понял: шаря по столу, я взял другой экземпляр из коллекции старика; и второй глаз, отразившись сетчаткой на сетчатке, наложил свое видение поверх видения первого.

Я взял их оба и осторожно нанизал прорезями зрачков на свободный конец нити: «Спите, элеаты».

Было ясно: передо мною, на черном платке, нанизанные на четочную нить, лежали глаза умерших метафизиков.

Волнение овладело мною. Толчком ладони я распахнул окно: и оттуда тоже – из черных надземных полей – глядели тысячи пристальных глаз.

Ближе к ним, – ну хоть на три фута; размотав шнур лампы, я придвинулся с офтальмоскопом в руках к подоконнику: на очереди был третий. Теперь я повернул зеркальце так, чтобы спутать короткие желтые лучи лампы с длинными лучами

звезд.

Глаз к глазу: и тотчас же ударило ярким сине-белым светом; половицы выдернулись из-под ног, роняя меня в бездну. В ужасе, не успев даже вскрикнуть, я лишь стиснул веки, но, странно, спина – к спинке стула, подошвы – крепко к полу. Преодолевая испуг, я осторожно полуоткрыл глаза: у самых ресниц, спутав синие, белые, изумрудные лучи, сияли огромные, во все небо рассиявшиеся пожары. Вначале – только они; но, понемногу привыкая к слепящему удару света, протискиваясь взглядом сквозь плетение лучей, я стал различать: где-то издали полз – навстречу моему глазу слабый желтый луч; луч был вдет в крохотный квадрат; на квадрате – маленькое, в точку ростом, тельце; я, щуря глаза, шевельнулся, стараясь лучше перцепировать затерянную точку; шевельнулось и тельце. Все еще пробуя всмотреться, я поднял руку, защищая глаз от боковых тусклящих видение лучей; и из тельца тоже выдернулось коротенькое щупальце, пытаюсь прикрыть его. Тогда я понял: передо мной был мир *обратной перспективы*, мир, в котором мнящееся малым и дальним – огромно и близко, а близкое и большое съезживается, малеет и уползает вдаль. И раньше, в снах, в предчувствиях, я знал об этом мире. Теперь я его видел; опрокинутая перспектива звала меня: войти в нее и вступить на кору далеких иноорбитных планет, жить неопаленным внутри ее солнц, отодвинутых прямыми перспективами *этого* нашего мира за черные пустоты межпланетья. Я знал, обратная

перспектива грозит смертями: бездна, в полушаге от путника, кажется ему далекой и недостижимой. Но погибать в ней легко: ведь тело и самое «я» там, в обратном мире, мнится далеким, чужим и ненужным.

Я резко отодвинул от себя офтальмоскоп: снова квадрат окна пошел на меня, луч лампы подобрался к глазу, а звездные пожары, вобрав в себя планы, сжались в крохотные синие точки и прыгнули в черное небо.

«Да, старик сдержал слово. Продолжим опыт».

Но когда, снизав четвертый глаз с нити, я попробовал ввести его в луч аппарата, глаз вдруг резко отдернулся зрачком от света. Думая, что глазное яблоко просто скользит в пальцах, я вставил в металлический зажим и отыскал лучом офтальмоскопа отверстие его зрачка. Но глаз, продолжая противиться, тотчас же плотно стиснул свой зрачок.

«Ага, вот ты как».

Приблизив пинцет, я попробовал протолкнуть его острием в прорезь зрачка: но глаз, отчаянно водя радужным ободком, смыкал края. Похоже было, будто он, отталкивая луч, пинцет, руку, защищает из последних сил какой-то мир, таимый им в себе для себя.

«Ты в моих руках, – подумал я, прикручивая винт зажима. – Один удар лезвия – и твое будет моим».

В шкапу я нашел скальпель: подведя лезвие к схваченному в стальные тиски глазу, я собирался вонзить сталь: глаз метафизика не дрогнул: не разжимая зрачка, не отдавая ми-

ра, он ждал удара. Вдруг скальпель зазвенел об пол. Чьи-то тонкие пальцы втиснулись мне в горло, и новый мир, *мой мир*, разрывая зрачки, острыми скальпелями врезаясь в мозг, входил в меня. Слезы текли навстречу вселяющейся вселенной, встречаясь с ней у выгиба ресниц.

Меж тем глаз, пойманный сталью зажима и ждавший, когда полоснут его лезвием, вероятно, недоумевал: он осторожно приоткрыл зрачок, вглядываясь в меня стеклисто неподвижным взглядом. Я высвободил пленника, взял в пальцы и вдруг – губами к склизкому холодку его обволакивающей ткани.

– Теперь пусть меняются дни и меняется в днях: то, что вошло в мой глаз, не знает смен: остеклено, врезано на веки веков, как и в них.

Я прижал голову к черному плату, я близил свои еще живые глаза к мертвым глазам метафизиков, тихим кругом сомкнувшихся вокруг меня: милые, милые, вот и я мертв, как вы, вот и я непреодолимо жив, как вы.

Но надо было кончать. Подняв голову, я собрал глаза и отдал их нити. Нить стянул узлом.

Я, вероятно, очень устал. Нервная реакция резко повернула колки, и не помню, где кончилась явь и начался сон. Именно теперь, когда подарок старика, приняв свой первоначальный вид, свисал чередой бусин с моих пальцев, одна чрезвычайно простая мысль напомнила наконец о себе: за чем старику понадобилось *подобие четок*. Ведь если костяш-



ки на стержне для отсчета цифр, бусины на нити для отсчета молитв.

И, преодолевая усталость, я приступил к последнему эксперименту. Память моя давно растеряла заученные в детстве слова молитв. Кое-как сцепляя концы с началами, я возвращал ветхие отченаши – и тотчас же глаз, зажатый в моих пальцах, стягиваясь и каменея, скользнул из фаланг и по нити вниз, я продолжал механический круговорот слов – и с каждым «аминем» еще один глаз, твердея и стягиваясь, каменной бусиной опадал долу. Однообразие поворотов окончательно спутало мне мысли, веки слиплись, четки выскользнули из рук: короткий тихий стук, стук камня о дерево – был последним восприятием, дошедшим до затмеваемого сном сознания.

\* \* \*

Теперь я веду жизнь сидня. Незачем ходить в поля за просторами: просторы всюду – вокруг меня и во мне. Каждая пылинка значительна, как солнце. Раньше все, что за окном, казалось мне дешевой картинкой, подклеенной к стеклу снаружи. Теперь вечерами я распахиваю створы прямо в звезды и в мысль: нужны были века, чтобы понять эти крохотные пятнышки. Помыслить их как миры. Но понять – мало. Надо увидеть.

Я редко переступаю теперь мой порог. Спустившись вниз,

я, пройдя десяток домов, сворачиваю обычно в узкий кривой переулок: по обе стороны сломанной линии переуллка, выходящего к серому овалу ворот и желтым крестам монастыря, справа и слева – деревянные лавчонки и рундуки; всюду: на перекладинах, скошенных подставках, крючьях – образки, кресты, крестики, цветные лампадки и четки – четки – четки. Четок много: они висят гроздьями, нанизавшись на нити, мерцают опаловыми, красными, черными – из коралла, палисандра, перламутра и агата – бусинами. Ветер тихо качает на крючьях их ленивые извивы пронизей. Иногда я подхожу к четочным вязанкам, рассматриваю, осторожно касаюсь их: да, да, точь-в-точь как *мои*. Стоит закрыть глаза, и мнится: вот орбиты, приварившиеся ссученными гнилыми нитями, покорно давшие связать себя узлом и обмотать вокруг жалких крючьев, – покинув плен, разворачивают свои эллипсы, и вот коралловые бусины, рассыпавшись кровавыми солнцами, возносятся на дальние зениты. Черные агатовые камешки разбухают в черные планеты, скользящие по длинным-длинным четочным нитям – от звезд к звездам.

Открываю глаза, и снова: рундуки, на рундуках крючья, на крючьях гроздья алых, белых и черных четок. Но я не верю глазу: ведь лжет же он о звездах, показывая мне их как крохотные изумрудины. Лжет и сейчас.

Иногда я шагаю дальше: по прогнившим мосткам, меж тысяч миров, продаваемых людьми людям за какие-то пятак и гривенники, вхожу я – сквозь овал ворот – под кресты:

там – в сизом ладанном тумане, у черных ликов и желтых свечей – простые бабы-крестьянки, и меж их иссера-коричневых, растрескавшихся пальцев все те же покорные, давшие связать себя в узлы орбиты: на орбитах, толкаемые грязным ногтем, безлучные, закаменевшие, стиснутые в крохотные точки – бессильные миры.